

**И. А. Есаулов**

Гоголь в русском  
и славянском  
контекстах понимания:  
парадоксы рецепции\*



Зависит ли хотя бы в какой-то степени научное изучение творчества Н. В. Гоголя от того или иного контекста? Ведь предмет изучения – Гоголь – как будто вовсе не меняется от той или иной рецепции? Разве не аксиоматично, что в том-то и состоит цель науки, чтобы добиваться воспроизводимости результата вне зависимости от той или иной позиции исследователя?

Однако же такого рода аксиоматика (доминирующая от позитивизма до формализма и структурализма) может быть определена как научная утопия. К сожалению (или к счастью), в гуманитарных дисциплинах результат научного описания *зависит* от позиции реципиента, от его установок. В том числе – от ценностных установок.

Приблизительно четверть века назад я постарался обосновать понятие «литературоведческой аксиологии»<sup>1</sup>, пытаясь доказать, что те или иные позитивные и негативные коннотации неистребимы в литературоведении (и, конечно, не только в литературоведении), они весьма часто определяют понимание своего предмета.

Следующим вопросом может быть такой: зависит ли понимание Гоголя от той или иной культурной системы, к которой относится истолкователь? Например, если я себя позиционирую как человека украинской культуры. Как-то зависит от такой установки *понимание* Гоголя или нет? Или же, если я себя позиционирую как человека русской культуры, – меняется или

\* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект 15-34-11091.

нет *само* понимание Гоголя? А если исследователь относит себя к культуре сербской? Или болгарской?

В этом моем этюде, который носит самый предварительный характер, являясь, скорее, наброском из жанра «к постановке проблемы», не ставится задача рассмотрения этих контекстов в эмпирическом плане (скажем, проследить изучение Гоголя в сербском литературоведении, хотя сама по себе такая задача и могла бы быть очень интересной: крайне важно было бы – в будущем – рассмотреть, так сказать, *национальную* рецепцию Гоголя на протяжении «большого времени» той или иной национальной культуры). Однако у меня речь идет о другом.

Отличается или нет Гоголь в русском контексте понимания от Гоголя в европейском контексте понимания? или в славянском контексте понимания?

Вот один из примеров семантического парадокса. Вчитаемся в знаменитое отречение гоголевского Андрия из повести «Тарас Бульба» от «Украины» как Отчизны: «*Кто* сказал, что моя отчизна Украина? *Кто* дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет *душа* наша, что милее для нее всего. Отчизна моя – ты»<sup>2</sup>. Обратим внимание, прежде всего, на то, что в этом эпизоде наличествуют три концепта: «Украина» (в качестве земной отчизны: как данность), иная отчизна (как заданность: «чего ищет душа наша») и, наконец, «ты». Что касается «Украины» (и украинского), то этот концепт находится в очень сложных отношениях к русскому, казацкому и польскому. Здесь не место характеризовать эти отношения, но замечу, что недвусмысленно само *казачество* определяется автором как «широкая, разгульная замашка *русской* природы»; «необыкновенное явление *русской* силы». И если Андрий – абсолютно в стиле прежних казацких свободных «самоотречений» – *отказывается* считать «Украину» своей «*отчизной*», то он вовсе не отказывается при этом ни от своей «*русской* природы», ни – тем более – от *козацкого* самоопределения. Напротив, повествователь подчеркивает, характеризуя речь Андрия – именно в этом эпизоде, когда герой заявляет: «Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне ее в отчизны?» – что эти слова Андрий говорит таким образом, «с каким упругий, *несокрушимый* козак выражает решимость на дело неслыханное и невозможное для другого» (106). Существует ли специфически «польский» или специфически «украинский» контексты понимания подобной эстетической *героизации* изменника (если говорить об этическом плане) Андрия?

Тот же вопрос возможно поставить, вспомнив тот факт, что во время горестных сетований прекрасной полячки на свою «свирепую судьбу» она дважды обращается к *Богородице*: «За что же ты, пречистая Божья Мать, за какие грехи, за какие тяжкие преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня?» (105). Однако в гоголевской повести Богородица в первый раз упоминается – в совершенно другом контексте – также в горестном эпизоде прощания (как оказывается – навеки) матери с Остапом и Андрием: «Мать <...> вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею. «Пусть хранит вас... Божья Матьер...»» (52).

Это общее обращение к Богородице (как и героизация противника, а не только самих казаков) позволяет сделать вывод: спектру адекватных истолкований повести (наряду с другими истолкованиями) соответствует то, что «в избытке авторского видения» (М. М. Бахтин) Гоголем изображается братоубийственная война.

Наиболее типичная ситуация постсоветского времени была такой, что «украинство» Гоголя усиленно подчеркивали ученые отнюдь не российские. А с российской стороны гоголевский «малороссийский колорит» являлся аксиологически нейтральной особенностью. Так что, за исключением инвектив Василия Розанова в адрес Гоголя, вплоть до заключительного, послереволюционного – «ты победил, проклятый хохол», – можно говорить, что Гоголь воспринимался исключительно в контексте русской культуры.

Однако в самые последние годы появились такие истолкования Гоголя – русской стороной, какие раньше были вовсе невозможны. В них педалируется исключительно славянская (а именно славяно-украинская) специфика. Приведу как колоритный образец рассуждения очень известного в определенной культурной среде нонконформиста, влиятельного блогера Дмитрия Галковского. Интерпретируется «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

«Рассказ Гоголя (несомненно, человека гениального) во всю свою ширь раскрывается только сейчас. До последнего времени русские понимали его не правильно, в упор не видя, что это злая, но очень точная карикатура на украинцев, которых Гоголь, будучи русским писателем, ненавидел до рвоты. Это очень странная слепота, потому что Гоголь не только не маскировал антиукраинский характер этого произведения, но всячески его подчёркивал. Иван Иванович у него не просто Иван Иванович, а Иван Иванович Перерепенко, а Иван Никифорович не просто Иван Никифорович, а Иван Никифорович Довгочун. И живут они не где-нибудь, а в самом центре украинства – в Полтавской губернии, в городе Миргород. Рассказ начинается как раз с описания бекеша Перерепенко. Но что такое бекеша? Это ни что иное как польское и украинское название полушубка, идущее в свою очередь от заимствованного поляками (а из их рук и русскими) ватного кафтана мадьяров. То есть начало повествования Гоголя звучит так: “Славная вышиванка у Ивана Ивановича! отличнейшая!” Во-вторых, следует заметить, что Перерепенко и Довгочун никакие не дворяне. То есть они дворяне, но липовые, что Гоголь постоянно подчёркивает. У них нет никакого образования, они чужды духовных интересов. Иван Иванович регулярно читает одну и ту же книгу с оторванным названием – как слуга Чичикова Петрушка. Зато он с удовольствием кормит свиней и индюков, а также вырезает из дерева миски и ложки. Такого же коленкора “дворянин” Довгочун – сосед Перерепенки, отличающийся от него большей грубостью и так сказать первобытностью – вплоть до того, что ходит по своему участку в “натуральном виде”. Собственно эти Перерепенко и Довгочун есть Адам и Ева украинства... Настоящие дворяне были на Украине или поляками или русскими. Если человек говорил на крестьянском наречии, он не был куль-

турным, и дорога у него была одна – или подняться наверх и стать человеком (поляком или русским), или пропить социальный аванс и вернуться в первобытное состояние. Интересно также описание конфликта между украинскими “друзьями”, приведшего к смертельной ссоре <...> В доносах по отношению к друг другу герои испрашивают у властей полоумную расправу: Перерепенко просит заковать Довгочхуна в кандалы и посадить в тюрьму, а Довгочхун умоляет сделать по отношению к Перерепенко то же самое, а ещё “барбарами шмаровать” (по-польски “бить плетью”) и отправить в Сибирь на каторгу»<sup>3</sup>.

Я не буду здесь комментировать столь необычное – до недавнего времени – прочтение, не буду пытаться определять – входят ли в спектр адекватных истолкований подобные интерпретации. Тем более, самые эпатажные фрагменты из очерка Дмитрия Галковского я еще пропустил. Само собою понятно, что он истолковывает Гоголя в актуальном контексте понимания, однако само «украинство» персонажей совершенно очевидно в данном случае получает не позитивные, а негативные коннотации.

Однако замечу: нечто подобное с Гоголем происходило и раньше. Вот диапазон определений: Гоголь как «почти» славянофил, потому что православный автор; Гоголь – творец казачьей «Илиады»; Малороссийский Данте; Гоголь как «почти» западник, ценитель Италии и, особенно, Рима, с симпатией относившийся к католицизму; Гоголь – сатирик; Гоголь – мистик... и другие «определения». Обращаю внимание на то, что в каждой из подобных объяснительных «этикеток» нет неправды, потому что они верно ухватывают какую-то грань гоголевского творчества и миропонимания, но при попытке их генерализации происходит неизбежная сциентистская редукция. В чем тут дело?

Дело в том, что в гуманитарных науках описание предмета исследования и понимания (а для нас это Гоголь) неизбежно зависит от того контекста, в который мы помещаем этот предмет. Рассматриваем мы Гоголя в контексте Малороссии – будет один предмет, рассматриваем в контексте России – другой, а в европейском контексте – будет еще один предмет. И только лишь неотягощенность среднего историка литературы методологической рефлексией зачастую порождает абсолютно непродуктивные споры.

Итак, мне бы хотелось подчеркнуть, что *изучение* гоголевского творчества в различных контекстах вполне корректно, хотя и редуцирует (в ту или иную сторону) реальную сложность предмета изучения. Однако без той или иной степени редукции науки вообще не существует. Вопрос именно в *степени* той или иной редукции. Потому что иногда язык научного описания совершенно трансформирует свой предмет. Так что ограничимся пока только лишь констатацией *корректности изучения* Гоголя в различных контекстах.

Но мы ведь рассуждаем как раз о *понимании* (а не только изучении). Мне представляется, что уместно выделить особый контекст понимания Гоголя, проистекающий из духовного поля Slavia Orthodoxa. Это не Гоголь в контексте русской / украинской / казацкой культуры, это Гоголь в православном контексте понимания. Характерно, хотя и прискорбно для



отечественного литературоведения, что впервые это поле как духовную грибницу русской культуры выделил и назвал не отечественный ученый, а итальянский славист Рикардо Пиккио<sup>4</sup>. Контекст *Slavia Orthodoxa* предполагает использование совершенно особых категорий филологии<sup>5</sup> – и многим нужно просто смириться с *неизбежностью* их использования в русской филологии. Иначе – например, без категории *пасхальности*, – подлинного понимания именно Гоголя достичь, на мой взгляд, просто невозможно.

Скажем, что это за сущность, которую Гоголь называет словом *Русь*? Что это? «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несёшься? <...> Русь, куда ж несешься ты? дай ответ»? Это, конечно, Россия, но, так сказать, вневременная (вечная) Россия.

Как представляется, пространственная горизонталь тела именно такой России («ровнем-гладнем разметнулась на полсвета»), преодолевая апостасию, изображаемую в галерее героев первого тома, – в символе Руситройки должна преобразиться в соборную духовную вертикаль. Именно это преобразование и показано в финале «Мертвых душ». Именно оно и является тем «Божиим чудом», о котором говорится в этом финале. Но это «чудо» имеет отчетливый пасхальный смысл и опирается на православную духовную традицию, согласно которой Русь, «вся вдохновенная Богом», оттого и является необходимым для мира «удерживающим», что вектор ее «пути» как Божий замысел о вечной России («дают ей дорогу другие народы и государства») – это идеал святости (*святая Русь*).

Таким образом, в конечном итоге, есть что-то более принципиальное в рецепции Гоголя, чем влияние национального колорита на истолкование гоголевских текстов. И это «более принципиальное» относится к одному чрезвычайно существенному для понимания Гоголя факту. Если православная вера, которая проступает в каждой молекуле художественного мира Гоголя, воспринимается истолкователем в качестве *позитивной* ценности, то истолкование будет одним (мне представляется, при всех возможных – и даже абсолютно законных для интерпретаций различиях, вполне созвучных фундаментальным установкам писателя), а если та же самая православная аксиология у истолкователя получает *негативные* коннотации, то в таком случае – при всех частных находках и остроумных наблюдениях – доминирует непонимание Гоголя.

Следует также подчеркнуть, что у истоков подобного глубинного непонимания находится не чех, не серб, не болгарин, не поляк, не украинец, а именно русский. Имя его известно. Это Виссарион Григорьевич Белинский, который на десятилетия и даже столетие в своем «Письме Гоголю» определил в гоголеведении неверный ракурс – ракурс *непонимания* Гоголя. А уж почему этот вектор непонимания Гоголя долгие десятилетия являлся доминирующим в изучении гоголевского творчества – объясняется не столько логикой развития литературоведения как науки, сколько некоторыми выходящими за пределы гуманитарной науки факторами. Но это уже совсем другая история.

## Примечания

<sup>1</sup> Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения: «Миргород» Н. В. Гоголя. М., 1995.

<sup>2</sup> Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.; Л., 1937. Т. II. С. 106. В дальнейшем после цитаты указываем только № стр. Курсив всюду мой. – И. Е.

<sup>3</sup> Галковский Д. Е. Повесть о том, как поссорился Перерепенко с Довгочухом. – [Электрон. изд.] <http://galkovsky.livejournal.com/245647.html> (дата посещения 29.03.2016). Орфография и пунктуация оригинала сохранены.

<sup>4</sup> См.: Picchio R. Letteratura della Slavia ortodossa. Cap. 1. Slavia ortodossa e Slavia romana. Bari, 1991; рус. перевод: Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: Литература и язык. М., 2003.

<sup>5</sup> См.: Есаулов И. А. Новые категории филологического анализа для понимания сущности русской литературы // Литературоведческий журнал. 2007. № 21. С. 3–14.